Н. Н. ЗЛАТОВРАТСКИЙ

Избранное

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«В предлагаемой статье я хотел бы коснуться того круга явлений деревенских будней, которые сосредоточиваются около так называемого «межевого столба». Круг этот, надо сказать, очень широк и захватывает чрезвычайно сложную и разнообразную группу деревенских интересов, а между тем нельзя не признать, что в представлении общества этот деревенский межевой столб или «яма» являются далеко не в том свете и не с тем значением, каково оно в действительности...»

- Николай Николаевич Златовратский
  - * * *
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8

Николай Николаевич Златовратский
Красный куст[1]
Из истории межобщинных отношений

* * *

В предлагаемой статье я хотел бы коснуться того круга явлений деревенских будней, которые сосредоточиваются около так называемого «межевого столба». Круг этот, надо сказать, очень широк и захватывает чрезвычайно сложную и разнообразную группу деревенских интересов, а между тем нельзя не признать, что в представлении общества этот деревенский межевой столб или «яма» являются далеко не в том свете и не с тем значением, каково оно в действительности. Всякому из нас, городских жителей, отправляющихся летом на «дачи», в лоно деревенской природы, случалось, конечно, в своих прогулках набредать на заросшие бурьяном с плесневелою водой и целым царством лягушек на дне неглубокие ямы, на подгнивший, покосившийся серый деревянный столб с выжженным сбоку черным пятном, уныло согнувшийся набок с краю этой ямы. Вряд ли, однако, многим из нас приходило в голову при виде этого заброшенного в какую-нибудь недоступную дебрь столба, сколько волнений, хлопот, разрушенных надежд, горя, слез и «животишек» стоит он местному крестьянскому населению. Вряд ли в вашем воображении встанет эта печальная трагическая картина, средоточием которой служит межевой столб, если вы человек деревне посторонний. Но если вас сопровождает один из местных старожилов и если вы с ним наткнетесь на такой столб, будьте уверены, что пока вы, пользуясь этим столбом, успеете закурить папиросу, он не преминет вам сообщить, полудобродушно, полуиронически, какую-нибудь любопытную историю, связанную с этим столбом…

– Вот он, вишь ты, столбик-то, подгнил уж, – начнет он, покачивая столб за макушку, – штучка невелика, всего одно полено, а тоже, я тебе скажу, друг любезный, немало в его, проклятого, достатков вложено… и горя было и слез… и всего… В остроге тоже отсиживались немало… Деньгу эту самую со всех деревень шляпами таскали…

– Как же так? – невольно спрашиваете вы, и в ответ вам начинается одна из тех длинных историй о «недоразумениях», которые в недавнее время такой сплошной полосой тянулись через крестьянскую жизнь.

Не успеет еще ваш проводник кончить этой истории, как уже вы натыкаетесь на другой столб и невольно приостанавливаетесь у него.

– Вот тоже, – прерывает себя ваш спутник, – столбик-то… В церкви стояли, крест целовали, присягу присягали, а две головы

сахару да три фунта чаю – и вернул на кривую!..

Да, ни много, ни мало, по любовному, значит, размежеванию пять десятинок у нас лугу-то и отдернул.

Вы спешите дальше, спешите, может быть, насладиться прекрасным видом волнующихся золотистых колосьев или отливающих изумрудом лугов, а уж в ваших ушах опять звучит: «Вот столбик-то… Присягу присягали, крест целовали, а два фунта чаю да три головы сахару…»

Но вы уже знаете, что будет дальше, и бежите в сторону от этого, не замеченного вами, столба. Вот наконец вы на опушке леса. Благодатная тень с сыроватым запахом елей охватывает вас. Вы присели в этой тени, опустили ноги в неглубокую ложбинку, всю обросшую душистым зверобоем. Впереди плещется река и играет золотой рябью в солнечных лучах. Вы только что забылись от этой бесконечной, монотонно печальной истории «греха», слез, «животишек», как вдруг замечаете, что ваш спутник, что-то шепча, внимательно разыскивает, всматривается в окружающую местность и что-то припоминает. Он то присядет, то, вытянув голову и шею, поднимется на колена, то встанет, отойдет в сторону, оглянется кругом и все что-то шепчет…

– Ну, так, здесь… Это верно, что здесь, – вдруг говорит он вслух и неожиданно начинает рыться в ложбине у вас под ногами.

– Вот!.. Нашел, как есть!.. Я помню, как не вспомнить!.. То-то, смотрю, как будто столбу надо быть… А вот, вишь, столб-то стащили… А яма-то позаросла. Ну, да я помню… Вот, гляди, вишь, вот и уголь и камни тут… ущупал как раз!.. Как не вспомнить!..

– Ну и что ж: опять – две головы сахару, три фунта чаю? – раздраженно спрашиваете вы.

– Как быть!.. И присягу присягали, и крест целовали… А замест того…

– Знаю, знаю! – говорите вы и лихорадочно спешите высвободить свои ноги из «ямы» и уйти, убежать хоть куда-нибудь от этих нескончаемых «двух голов сахару и трех фунтов чаю»… Но напрасно: эти стереотипные «2 головы сахару и три фунта чаю», выражающие собой стоимость целой «уймы» мужицкого горя, слез и животишек, уже плотно оседают в вашей голове; они преследуют вас всюду, где только нога ваша случайно переступает какую-нибудь границу, межу. С этих пор, есть ли при вас старожилый спутник или нет, всё одно: вам достаточно натолкнуться на такой столб или наткнуться на заросшую бурьяном яму, чтобы в вашем воображении моментально явились «две головы сахару и три фунта чаю».

Говорят, что в стародавние времена существовал обычай во

время размежевания брать на межу детей и задавать им при каждой выкапываемой яме внушительную порку, чтобы, так сказать, навеки запечатлеть в их душе и на известных частях тела границы их и чужой собственности. Этот обычай исчез давно, и совершенно основательно, ибо «две головы сахару и три фунта чаю», перевешивающие целую уйму мужицкого горя, слез, молений и животишек, много чувствительнее березовой каши.

Но – это между прочим. Нас не столько интересует здесь маленький человечек, вечно пьяный, нахальный, обремененный семейством и вечно нуждающийся землемер недавно прошедшего времени, который за две головы сахару был готов отхватить у мужиков и мужицкого потомства столько удобных земель, сколько это допускало их невежество в землемерных операциях, и не самые эти «операции», в большинстве случаев всем уже известные и приконченные, сколько интересует другая, современная сторона явлений деревенских будней, обусловливаемая этим межевым столбом.

Невозвратно, читатель, канули в вечность те блаженные времена, когда жила знаменитая бабушка Ненила. Понятно, что в те времена, когда эта бабушка Ненила со своей родной деревней, у которой «лихоимец жадный косячок изрядный оттягал, отрезал плутовским манером», все свои упования формулировала в словах:

> Вот приедет барин: будет землемерам!
> Скажет барин слово —
> И землицу нашу отдадут нам снова.

когда все эти упования сосредоточивались на «барине» – и «межевой столб» далеко не играл такой выдающейся роли в уме и душе крестьянина, какую занял он впоследствии. То было время «господское»: и сама Ненила была господская, и дело было господское. Но вот умерла Ненила, и с нею умерли ее «упования». Вместо Ненилы выступили другие фигуры, и ее «упования» должны были принять другую форму. Мужику предоставлено было «уповать» на самого себя, за собственный страх и риск. Но так как крепостной мужик никогда самого себя не знал и собственной воли не имел, то и уповать на себя не мог. А ведь без упования как же жить? И вот наступил период, когда мужик крепко уверовал в какую-то отвлеченную «правду и милость», которые будто бы должны были неуклонно бдеть над ним и не оставить его на конечное разорение. Новая бабушка Ненила свои упования формулировала уже несколько иначе: когда интересы этой бабушки Ненилы с «легкой совестью» разменивались на «две

головы сахару и три фунта чаю», она навязывала на спину котомку и, направляясь куда-то, в никогда не виданную ей страну, вместе с «ходочками», говорила: «Да неужто же правды на земле нет? Есть правда, есть… Как не быть правде на земле!.. Только бы дойти *до нее, матушки*, а уж она, правда-то, свое возьмет, милость окажет»… И пока вторая бабушка Ненила ходила за поисками «правды», история с «тремя головами сахару» принимала поистине грандиозные размеры, а ее детки и внучки уже начинали подумывать о том, как бы с упованиями второй бабушки Ненилы не случилось того же, что с упованиями первой. А раз запало в душу такое сомнение, все более и более подтверждавшееся тем, что ни бабушка Ненила, ни «правда и милость» вслед за ней что-то давно в деревню не заявлялись, оказывалась уже настоятельная надобность придумать какое-нибудь новое упование. И что мудреного, если упование на «правду и милость» сменится, в свою очередь, упованием на всесильные «две головы сахару»?.. Только новое это упование требует для своей реализации кое-чего более реального, чем одна «вера»; чтобы наилучшим образом утилизировать всесильный принцип, выраженный в формуле: «две головы сахару, три фунта чаю», требуется, конечно, прежде всего иметь эти «две головы» в своих руках, а для этого нужно «*познать*» самого себя и суть окружающих условий… В каком направлении пойдет это «познание» и каков будет его конечный результат, мы доподлинно сказать теперь не можем, ибо это «познание» трудно поддается обобщениям и не втискивается целиком в готовые шаблонные категории. Несомненно, впрочем, одно, что бабушка Ненила этого третьего, нового, «познавательного», так сказать, периода – будет далеко не так формулировать свои упования, как формулировали их ее родительница и прародительница.

Подсмотреть и анализировать трудный, совершаемый под давлением бесконечного ряда внешних условий процесс выработки народного «познавания» представляется работой многообещающей, так как только этим путем можно и самому интеллигентному человеку подслушать биение пульса народной жизни, подсмотреть святую святых ее души… Работа эта так широка и многообъемлюща, что мы, конечно, и в виду не имеем касаться ее во всем объеме. Как выше сказано, мы ограничимся здесь только теми явлениями, которые сосредоточены около «межевого столба». Но из обширного ряда этих явлений (ведь под символом «межевого столба» разумеется целая область земельных отношений, охватывающих собой 9/10 всех крестьянских интересов) мы исключим, во-первых, те, которые благополучно или неблагополучно достигли вожделенного «предела» в форме

разных «уставных грамот»[2] и «владенных записей», как актов размежевания между помещиками и казной, с одной стороны, и крестьянами – с другой; во-вторых, те, которые заявляют себя в форме «передвижений» замельной собственности из рук «барства» в руки «коммерческие»; этот последний процесс если и не завершен еще, то все же более или менее читателям знаком. Но есть еще область явлений, народившаяся сравнительно недавно и, может быть, поэтому мало или почти вовсе не обращавшая на себя должного внимания. Это передвижение земельной собственности уже не между общиной и единоличным собственником (казной, помещиком, купцом), а между самими общинами, то есть здесь ставится вопрос о межобщинных отношениях. Вопрос этот вообще мало разработан в нашей литературе, потому ли, что нас теперь интересует больше вопрос о количестве в руках общин самой этой собственности, чем вопрос об ее передвижении меж общинами и распределении, или потому, что мы обращали больше внимания на распределение собственности внутри самой общины, чем вне ее. Во всяком случае, вопрос этот заслуживает большего внимания, чем это было до сих пор. В последнее время мне пришлось познакомиться с некоторыми фактами из этой области, которые и хотелось бы передать читателю.

Наблюдения нынешнего лета, как и значительная часть предшествовавших моих наблюдений, относятся к Владимирской губернии, и именно до центральных ее уездов. Признаться сказать, я неравнодушен к этой губернии. Впрочем, не по чувству узкого «землячества» и не по каким-либо особым красотам ее природы или душевным доблестям ее обитателей. Нет, просто по обширности и глубине той сферы, какую она представляет для наблюдений над народной «душой». Меня влечет к себе ее вечно деятельный, вечно подвижной, вечно ищущий «где лучше» сын народа, «этот истый великоросс-колонизатор». Обитатель умеренного климата и умеренной почвы, он избежал крайности поэтически-созерцательной лени малоросса и апатической косности своего северного или белорусского собрата, убитого и приниженного непосильной борьбой со стихийными силами природы и истории. Крайнее разнообразие исторических воздействий, которым подвергался обитатель Центральной России и из которых между тем ни одно не было настолько преобладающим, чтобы наложить свою обезличивающую печать и окончательно подчинить личность своему влиянию, – выработало в этом обитателе известную степень самодеятельности и придало населению этих местностей замечательное разнообразие типов. Здесь вы, сравнительно на небольшом районе, встретите

всевозможные типы населений, выработавшиеся под разнообразными историческими воздействиями; здесь целы «барские села», прожившие век под тяжелой «барщиной» – то со смирным, пришибленным и убитым населением, то с буйным, пьяным, воровским; там огромные волости казенных крестьян и оброчных, с преобладающим развитием типа «хозяйственного» мужика, бойкого, здравомыслящего и оборотистого, обходившего из конца в конец всю Россию, побывавшего во всех больших городах, видевшего всю прелесть цивилизации. Не успели вы сделать несколько десятков верст, как уже перед вами фабричные села с разнообразнейшим населением «кустарей», и только перевалитесь вы отсюда за реку, перед вами стоит истый, исконный землепашец, негодующий на заречные «негодные порядки» и распутство. Вот какая обширная область открывается для наблюдения. Несомненно, здесь наблюдение труднее: разобраться в этом разнообразии представляется не легким; но зато здесь перед вами целая коллекция с драгоценными экземплярами, из которых воочию вы можете проследить всю вековую и страдальческую историю народа; вы можете проследить непрерывную цепь исторических наслоений, ибо здесь еще живыми сохранились такие формы социальных отношений, которые вы считали давно вымершими, и на ваших же глазах зарождаются социальные комбинации, о которых вы и не слыхивали еще и возможность которых даже не предполагали. Здесь встретите в одном и том же месте и редкие экземпляры «барской» бабушки Ненилы, глухой и слепой, полузабытой и загнанной на печь, которая неудачи своих упований на барский гнев и барскую любовь изливает в беззубом брюзжанье на «вольные порядки»; здесь же увидите широко распространенный тип всеуповающей, всеверующей в «правду и милость» новой «пореформенной» бабки Ненилы, которая упорно ждет «поравнений» – «общих переделов», долженствующих неотложно засвидетельствовать собою присутствие на земле «правды»; но уже вместе с этим типом романтика вы замечаете, как быстро нарастает другой тип народных скептиков и позитивистов. Таковы основные типы, резко бросающиеся в глаза; но между ними существует целый ряд второстепенных градаций: индифферентистов, озлобленных, «жадных», вольницы, с одной стороны, и подвижников-ригористов – с другой, и т. п. Можете себе представить, каково должно быть здесь разнообразие социальных бытовых форм! И при всем том нигде так крепко не держатся и не преобладают общинные формы, как здесь. Часто мне приходилось слышать такие соображения: «Напрасно, – говорили мне, – вы выбрали для изучения общинных устоев такое

исковерканное, изломанное всевозможными влияниями, разношерстное население кулаков и лодырей всякого рода. Какие там „устои“! Вот если бы вы направили свои наблюдения на север, в лесные недоступные дебри, где, по всем вероятиям, общинный тип уцелел в неприкосновенной чистоте», и т. д… Однако ж я держусь относительно этого иных взглядов. Меня интересуют не столько вымирающие, архаические формы общины (хотя, может быть, они и отличаются первобытной неприкосновенной чистотой), сколько именно «современная» община данной минуты, живая, борющаяся за существование, брошенная в водоворот всевозможных и разнообразных воздействий и влияний. Только здесь, при этом разнообразии центральных великорусских типов, можно по справедливости оценить, насколько общинные традиции упорно держатся в народном сознании, насколько община живуча и до какой степени она эластична и жизненна; только здесь можно проследить весь тот ряд бесчисленных приспособлений и компромиссов, при помощи которых народное творчество силилось и силится удержать при себе излюбленную традиционную форму быта. Но здесь же, одновременно, вы можете проследить и весь процесс ее разложения, и все шансы, способствующие ему…

Вот почему именно здесь я одновременно мог наблюдать факты, о которых расскажу сейчас.

Есть у меня два хороших знакомых: два Елизара – Елизар Нагорный и Елизар Луговой. Они друзья, несмотря ни на то, что значительно разнятся по летам – первому уже шестой десяток в исходе, второму всего еще сорок лет, ни на то, что живут в разных волостях, верстах в 15 друг от друга, а значит, и видеться могут нечасто. Тем не менее на особые специальные деревенские праздники каждый из них считает непременным долгом навестить другого, и непременно с подарком. Откуда, когда и как завязалась их дружба – осталось для меня неизвестно.

Пока я жил у Елизара Нагорного, мне пришлось раза три видеть у него Елизара Лугового, и всегда в праздник. Едва мы засаживались после обедни за самовар, как подъезжала добрая каряя лошадь Елизара Лугового, и мой хозяин, улыбаясь, говорил: «Вон и благоприятель подъехал… как раз кстати! Он меня не забывает». И старику, видимо, было очень приятно посещение Елизара Лугового.

– Здорово, старина! – громко выкрикивал бойкий, разбитной, веселый, всегда чисто одетый, приземистый и коренастый Елизар Луговой.

– Здорово, здорово… Спасибо, не забываешь старика…

– Зачем забыть!.. Сказано – не имей сто рублей, а имей сто друзей…

– Ну, не от вас это слышать… Народ вы не таковский… Вы и отца родного, говорят, подешевле спустите, – добродушно посмеиваясь, говорит мой хозяин, поглаживая свою большую седую бороду.

Нужно заметить, что вообще все беседы свои благоприятели начинали в таком полудобродушно-насмешливом тоне.

– Пожалуй, что и правда… Только мы, брат, умеем продать, да умеем и выкупить… А вот ваши, нагорные, говорят, задаром отдают отцов-то, да и выкупать не хотят, – продолжал отпарировать Елизар Луговой, расстегивая ворот кафтана и присаживаясь к столу.

– Да уж лучше, по-моему, эдак-то, – говорил дед, – а то торговля-то эта больно… того… на душе тяжело ложится… Лучше уж оно задаром-то…

– Ну, это, как смотря… Дела-то как у вас нонче? Как живете?.. Ходят слухи, бойко стали жить…

– Бойко, верно, что бойко… У вас, должно, учиться стали… Такая грызня пошла – не приведи господи!.. Ровно собаки из-за обглоданной кости… Нехорошо бы об крестьянском народе так говорить, да невтерпеж… Правда!.. Правду не спрячешь… Все перегрызлись: деревня деревню грызет, мужик мужика, брат брата… Гляди того, друг друга поедом съедят…

– Ничего, не съедите… Размежевка у вас все?

– Размежевка… Вот она, что ржа, нас и ест… Сказано: замежуетесь и не размежуетесь до конца века… Нет, уж тут рукой махни. Деньжищев этих однех в ямы-то межевые просадили – страсть!.. А в кабаки сколько ушло, в город, землемерам, абвокатам – и несть числа!.. Драк сколько было, смертоубийственных драк… В греха-то греха!.. Только одно – отойти от зла, сократиться… Еще как и живы, – не знаю… Живешь только уж единственно верой, что правда свое возьмет, правда придет. Нельзя быть без правды…

– Ничего, старина, перемелется – мука будет!..– хлопая старика по колену, говорит Елизар Луговой. – Мы, братец, тоже, знаешь, сколько лет грызлись из-за энтих столбов, чуть было не по миру все пошли, а ничего, друг друга не съели, все живы… Подравшись-то, оно после дружнее выходит. А там правду-то еще жди.

– Этого тоже не скажи… Народ-то вы известный!.. Мало ли вы самих себя загубили по судам да кляузам?.. Ваши законы для других не писаны… Вы народ хитрый, оборотистый… из лычка ремешок сделаете… Лодырники… А мы народ старинный, мы

искони веков землепашеству да старине были крепки… Нам тянуться за вами нечего. У нас вот тронь порядки-то, все и полезло врозь… Вон до чего дело дошло: говорю, хоть бежать, так в ту же пору… Только бы душу сохранить… В старину-то святее нас жили…

– Эх ты, старина, хочешь во миру душу спасти!.. Ежели душу спасать, так в монастырь шел бы… А то вишь чего захотел!

Елизар Луговой хохотал.

– Ну, да вы ведь… известны нам… Вам что душа-то?.. Вы уж ее давно запродали. Пожалуй, можно и весело жить, коли об душе не думать…

– Поди, старичок, – говорю, – в монастырь… Ежели насчет души – разлюбезное дело, – дразнил Елизар Луговой и продолжал смеяться, подмигивая мне на старика.

– Чего ржешь?.. Ну, чего?.. Христопродавцы вы! Спроси кого хочешь, кто про луговых хорошее слово скажет? Ерники, кулаки…

Друзья начинали ссориться.

И так каждый раз. Елизар Нагорный скорбел, Елизар Луговой разыгрывал роль деревенского Мефистофеля.

Однако это нимало не мешало Елизару Нагорному, тотчас же после чаю и обеда, отправляться со своим приятелем к себе на задворки – в хлев, в риги, в огород, в сад… Он с удовольствием показывал ему свое хозяйство – новую корову или выращенного жеребенка собственного, свою свинью, телок, новую телегу и т. п. Любил он его водить в свой сад, показывал малину, смородину и в особенности хвалился двумя сливами, которые привез ему в подарок Елизар Луговой из поездки в южные губернии, хвалился он ими потому, что Елизар Луговой хотя и подарил их ему, но, по обыкновению скептически посмеиваясь, говорил, что где же ему их выходить! Разве нагорный мужик что знает!.. Что он видал в свой-то век? Кроме корявой сосны ничего не знает! и т. д. Это старика подзадорило, и он ходил за приятельскими сливами с неослабным вниманием.

И опять-таки, хотя друзья прощались у ворот очень любовно, шутя и подтрунивая один над другим, все это не мешало Елизару Нагорному, едва скрывалась за углом плетушка Елизара Лугового, говорить мне, махнув сокрушенно рукой: «Вот мужик – беда!.. Народец, не приведи господи! Отца родного съест… Ему палец в рот не клади!.. Нет, брат, не такой человек… Только перед ним распусти губы-то, и не услышишь, как хвост отгрызет… С ним тоже помолившись за беседу-то садись…»

– А вот ведь ты с ними приятельствуешь?

– Что ж не приятельствовать? Они дело понимают… Они народ дошлый… Мы вот смирны, а за ними тянемся…

И Елизар Нагорный опять заскорбел, заскорбел на свою излюбленную тему, что не стало в миру «правды», что народ сам себя поедом ест и что ежели еще кое-как живешь, то единственно в уповании, что «правда придет и милость придет».

И так он скорбел, скорбел и я вместе с ним, скорбели мы оба за «смирный» народ, сбивавшийся со старинного пути. Мне же, лично, тоже очень не понравился Елизар Луговой, с его самомнением и насмешливым самодовольством. Такое впечатление поддерживалось во мне, кроме того, общими отзывами о Луговой стороне, что там преимущественно обитают исконные сутяги и кулаки.

Однако, хотя мужики постоянно отзывались о луговых в насмешливом тоне, но под этой насмешкой слишком ярко уже начинало сквозить как будто тайное уважение к бойкой натуре Елизаров Луговых, их сноровке, оборотливости, уменью быстро ориентироваться во всяких трудных обстоятельствах. Да эта же струнка чувствовалась и в отношениях двух друзей Елизаров. Для меня, например, лично, как и для всей местной интеллигенции, Елизары Луговые были народ отпетый, народ погибший, на которых никаких уже «либеральных» надежд возлагать нельзя. И раз вы пришли к убеждению, что для смиренного, старозаветного нагорного обитателя обитатель луговой начинает являть собою тот вожделенный, новый идеал, который уже порешил со всякими старозаветными «упованиями» и на их место выставляет нечто другое, – для вас, стороннего наблюдателя, нет ничего легче, как сейчас втиснуть это явление в «категорию» о бесповоротном разложении, например, общины, о ее несомненном вымирании, как отжившей формы, насильственно удерживать которую при народе – значит идти вопреки свободным его инстинктам.

Елизар Нагорный, несомненно, имеет основание скорбеть. Этих оснований жизнь приготовила для него очень много, но мы здесь обратим внимание только на некоторые из них. Возьмем для примера такое яркое событие из современной жизни обитателя Нагорной Палестины, как недавняя резолюция одной из высших судебных инстанций, которая очень выгодна для самого Елизара Нагорного и его односельцев, но которая в то же время в душе и уме Елизара Нагорного и его односельцев санкционирует собою заведомую и несомненную несправедливость. Событие это возымело свое бытие уже очень давно, лет пять-шесть назад, долго и упорно волновало всю Нагорную волость, почти разорило две соседних деревни – Борки (в которой обитал Елизар Нагорный) и Сосенки – и завершилось, наконец, к соблазну смирного и старозаветного мира нагорного неожиданной резолюцией. Дело это было такое. Деревни Борки и

Сосенки некогда принадлежали к одной волости (общины-волости, далеко не совпадавшей с административной волостью), находились некогда во владении одного помещика, «какого-то князя», и владели сообща с другими деревнями Нагорной волости большими поемными лугами, лесами и пустошами. Но уже давно, под давлением разнообразных обстоятельств, община-волость почти совсем разложилась, деревни «размежевались», процесс точного разграничения и распределения собственности завершился, надлежащие столбы, при достаточном поощрении в виде «двух голов сахару», были установлены, и к настоящему времени от общины-волости остались только кое-какие не успевшие еще атрофироваться окончательно элементы, свидетельствующие лишь, что что-то было, да сплыло. В общей размежевке приняли, конечно, участие и Борки с Сосенками и в общем процессе распределения нищенской суммы взяли и свои доли, – доли, конечно, по числу надельных душ: Борки на 30 душ, Сосенки на 60. В числе этих долей были доли и большого пойменного покоса, некогда ежегодно переделявшегося между всеми деревнями общины-волости. Путем длинных переторжек, обмеров, подкупов, сутяжничества и прочих некрасивых вещей, выдвинутых закреплением за каждой деревней «собственности», дело наконец приведено было к концу, сделаны общие и специальные планы и розданы по деревням. Когда планы были получены, один из них попал в руки «умственного» сына деревни Борков, некоего Яшки-Зуба, грамотного, бойкого мужика, прошедшего огонь и воду и далеко уже шагнувшего в «познании» самого себя и смысла окружающих условий. Рассматривая план своей деревни, Яшка-Зуб вдруг сделал неожиданное открытие своим односельцам, что они прежде всего «дураки», не видят, что у них под носом грибы вырастают. Когда же просили разъяснить столь смелое заключение, он вынес на сходку план и подлинно доказал, что «по плану» они оказываются собственниками не того участка пойменного луга, которым пользовались исстари «по равнению» и владеют теперь в размере 30 надельных душ, а того, которым владеет теперь деревня Сосенки в размере на 60 надельных душ, то есть вдвое больше. Открытие это было так неожиданно, что односельцы Яшки-Зуба долго не хотели ему верить, пока наконец компетентность в этих делах Яшки и его усиленные разъяснения не убедили их окончательно в справедливости открытия. Но совершенная невозможность понять, каким образом такая история могла случиться, повергла борковцев в сильное смущение. Большинство, со стариками во главе, все это единодушно считало «бесовским наваждением и искушением» и настоятельно предлагало на это дело плюнуть,

так как если его поднять, то придется «в кровь» рассориться с шабрами из Сосенок и разорить их вконец, меньшинство же, притом молодых, с Яшкой-Зубом во главе, агитировало в том направлении, что эта «находка самим богом нам, дуракам, послана, а мы ее бросать будем… После этого какие же мы люди!.. Плачемся на бедность, на то, что земли мало, а божеский дар из рук сами упущаем». Меньшинство в начале, под первым впечатлением, потерпело полнейшую неудачу. Справедливость и братство торжествовали, поддерживаемые большинством. Однако же это открытие совершенно нарушило относительно мирный уклад борковской души. Всю зиму у борковцев не выходила из головы мысль об открытии Яшки-Зуба. Как ни сойдутся мужики на улицу, в избах, о чем ни говорят, а в конце концов непременно сведут разговор на это открытие. Благомысленные люди деревни Борков все еще с успехом боролись с убеждениями умственных мужиков, и инертная, нерешительная масса была на их стороне, считая необходимым крепко стоять против «искушения». Скоро весть об этом открытии разнеслась по всей волости, и волость распалась на такие же две фракции, какие были и в Борках. Проходила зима, а толки об этом деле крепчали все больше и больше. Сосенковцы упорно молчали и надеялись на одно, что «правда свое возьмет», что «их правое дело всему миру известно» и что «мир (вся волость), как один человек, станет за правое дело и их в обиду не даст».

Однако Яшка во имя торжества собственной «умственности» не переставал агитировать в пользу сделанного открытия. Еще бы! Он стал теперь «героем дня»… «Слышь ты, Яшка-то каков!.. Планты, брат, ровно землемер разбирает… Зубасты ноне молодые парни стали…» – в один голос твердила вся волость. Все же еще Яшка не мог составить себе большинства, не мог склонить на свою сторону колеблющуюся массу. Он чувствовал, что эту массу очень соблазняет лакомый и даровой кусок, но для массовой совести необходимо было найти хоть какое-нибудь, хоть фиктивное оправдание, за которое она могла бы ухватиться.

Вот этого-то оправдания долго не находил Яшка. А между тем наступала весна; вопрос обострялся. Яшка волновался и ругал мужиков еще пуще «дураками» и иными нелестными прозвищами. Но ругань помогала плохо. Как вдруг на Яшку снизошло вдохновение. Он объявил на миру, что готов самолично и за свой страх доказать, что это дело во всех частях «законное», что он от мира готов быть адвокатом, если бы пришлось даже до самого царя идти. «Вы то подумайте: ведь закон! – кричал он. – Что значит закон? Закон, значит – правда! Нам так кажется, а по закону другое выйдет… Потому, закон всему голова…» и т. д.

«Коли по закону выйдет… так что ж!.. должно так и быть надо», – заговорила колеблющаяся масса. Только этого Яшке и нужно было. Оправдательная фикция была найдена, и Яшка-Зуб повел решительные переговоры с сосенковцами. Понятно, что сосенковцы и слышать не хотели. И вот когда пришла пора сенокоса, борковцы под предводительством Яшки-Зуба явились на луг сосенковцев и принялись было, хотя еще очень нерешительно, косить. Но сосенковцы бросились на них и прогнали. Борковцы ушли, а Яшка тотчас же сочинил прошение, в котором «изъяснил», что крестьяне деревни Сосенок противозаконно, с орудием в руках, как-то: граблями и косами, усильственно изгнали крестьян деревни Борки с их *собственной, по государеву закону приписанной* им земли, а посему и проч.

Дело таким образом приняло надлежащее и законное течение, какие на этот раз существуют в благоустроенных государствах.

Прыжками и скачками, с проволочками и «подмазываниями» поскакало оно по бесконечной цепи разных административных и судебных инстанций, спотыкаясь о различные «статьи» и «разъяснения», цепляясь и выбиваясь из целой хитрой сети крючков, возвращаясь назад, потухая и снова возгораясь… Чтобы довести такое дело энергично и стойко до конца, нужно руководиться какими-нибудь чрезвычайно сильными мотивами. И надо всю честь энергии приписать всецело Яшке-Зубу, который неослабно, в течение нескольких лет, вел это дело. Сосенковцы разорились окончательно, борковцы залезли в долги, а Яшка все агитировал и агитировал с неоскудеваемой «энергией», поддерживаемый «молодым поколением» своей деревни. И из-за чего? Какой для него лично был здесь барыш? Единственно из-за поддержания репутации своей как «умственного мужика» и «умственности», вообще, как нового принципа, завоевавшего себе права гражданства в старозаветном складе жизни!.. Чтобы оценить силу этой энергии, с одной стороны, и значение «соблазна», какое имело это дело для всего нагорного мира, читателю нужно представить себе всю ту массу лишений, волнений, споров и пререканий, проволочек и начальственных посещений, которым в течение нескольких лет подвергались сосенковцы и борковцы. Вначале, когда дело вращалось еще в сфере исключительно «крестьянского положения», когда шли сходы за сходами, сельские и волостные, наезжали старшины, становые, непременные члены и члены крестьянских по делам присутствий, когда все дело ограничивалось «опросом сведущих и старожилых людей», когда, таким образом, дело сводилось на апелляцию к общественной, «общенародной совести», дела

борковцев, с Яшкой-Зубом во главе, шли плохо; доходило нередко до того, что несколько раз, пристыженный на общих сходах, борковский мир в лице большинства и стариков («Не стало у вас бога-то! Али вы память зажили, что не помните, как мы в старину жили?.. Стыдно бы вам, старикам, за молодыми-то гоняться! Умирать уж вам пора!» – так внушительно корили борковских стариков на сходках) – этот борковский мир сам вдруг отказывался от всяких претензий, от дьявольского искушения, мирился в кабаке с сосновским миром, клялся ему в вечной верности и братски взаимно лобызался. Усталое начальство, с непременными членами во главе, радовалось такому «полюбовному соглашению» и спокойно уезжало. Но Яшка-Зуб не дремал и продолжал действовать. Имея в виду, что «законный документ» полюбовным соглашением в кабаке не умалялся в своем значении, он переносил дело в новую инстанцию, и чрез несколько месяцев оно неожиданно вновь вспыхивало еще ярче прежнего. Учуяв, что пока дело вращается в той сфере, где в ходу апелляции к «общенародной совести», то «полюбовным соглашениям» и братским клятвам, заливаемым вином, конца не будет, Яшка старался перенести дело в инстанцию, где все апеллировало уже «к прямому и точному смыслу законов».

Тут дело пошло совсем иначе. Чем инстанция дальше отстояла от непосредственного сообщения с народом, тем опросы сведущих и старожилых людей становились ненужнее, тем всякая возможность полюбовных соглашений исключалась все больше и больше; чья-то другая, «сторонняя совесть» стала на место общественной совести и явилась вершительницею судеб; эта другая совесть уже неуклонно понесла с собою соблазн. Едва борковцы приметили, что апелляция «к точному и прямому смыслу законов» явно покровительствовала Яшке-Зубу, как вдруг с каким-то чуть не ожесточением бросились все поголовно сносить в помощь Яшке-Зубу последние свои «животишки»… потому что «высшие инстанции» с межевыми чинами, прокуратурой и адвокатурой требовали целую уйму денег. И жертвы эти не остались безрезультатны. Была объявлена резолюция такого содержания: ввести во владение крестьян деревни Борки той частью луга, которою доселе, вопреки прямому и точному смыслу законов, владели и пользовались крестьяне деревни Сосенок, во владении каковых значится по плану специального размежевания лишь часть, находившаяся во владении деревни Борки. Взыскать с крестьян деревни Сосенок в пользу крестьян деревни Борки арендную сумму за 6 лет, со дня размежевания, за пользование ими чужою собственностью вопреки точному и прямому смыслу законов… На основании

таких-то и таких-то статей все издержки по сему делу взыскать с крестьян деревни Сосенок, да с оных же… и проч., и проч., и проч.

Когда эта резолюция сделалась известной нагорному миру, этот мир единодушно крякнул и сказал: «Н-ну, паря, пошла битка в кон!» И точно: «умственность» сразу возросла на пятьдесят процентов, и взаимному поеданию открывалось широкое поле.

Согласитесь, что как Елизар Нагорный, так и я вместе с ним имели все основания, чтобы скорбеть, тем более что такие «события» не исключительны и не единичны: они из году в год растут и вширь и вглубь; они несут с собой какую-то новую «идею» (с Елизаром Нагорным мы *теперь* видим пока только одну идею – идею «разложения», за которой для нас не виднеется даже призрака «созидания»), и эта новая «идея» проникает собой все поры крестьянской жизни. Но чтобы понять должным образом всю глубину скорби Елизара Нагорного, читателю, хотя поверхностно, надо познакомиться с тем, что в нагорном миру «было да сплыло», а было в нагорном миру вот что.

Нагорный мир, составлявший плотную, связанную длинным рядом традиций общинную организацию, общину-волость (не смешивайте только с административной современной волостью) из семи-восьми деревень, с общим количеством до тысячи душ одного мужского пола, владел в прежнее, крепостное время *сообща* полями, лугами, лесами, пожнями и пустошами; кроме общей «барской межи», отделявшей владения их помещика от соседних, угодья нагорного мира не знали никаких границ, никаких столбов и ям. Общины-сестры, связанные общим союзом, вместе поднимали барскую и собственную «тяготу» жизни, тянули за общий страх и риск. В распорядки их внутренней жизни никто не вмешивался; «прямой и точный смысл закона» им был неведом; народная «общинная совесть» могла жить рядом с «совестью барской», и если эта барская совесть «вносила соблазн», то только порывами, налетом; он мог быть, но при случайно благоприятных условиях мог и не быть. Эти благоприятные условия существования для нагорного мира дольше, чем у их соседей, и вот почему дольше. Нагорный мир апеллировал во всех своих распорядках исключительно к одной народной, общинной совести. Ежегодно, в известные сроки, сходился весь нагорный мир в одну из деревень (считавшуюся родоначальницей всех прочих, так как время заселения терялось во мраке веков) и здесь производил дележ и равнение своих общеволостных «угодьев». Сначала он разбивал себя на семь-восемь «вытей» по числу общин, равняя их по душам. По этим вытям уже разбивал «жеребьевкой» все угодья и леса, и луга, и даже поля (хотя последние в более продолжительные периоды переделов, от 3-5

лет). Все уравнивалось в «вытях» по самой строгой справедливости. Затем каждая выть[3], как самостоятельное целое, вела свои собственные равнения, сообща рубила и охраняла леса, косила луга, отправляла повинности. Эта же строгая общинная организация держалась и во всем; принцип равнений общей работы и взаимопомощи был строго проведен чрез всю общеволостную жизнь. На случай пожаров – все выти обязывались выбегать на пожарище, рубить лес, ставить избы погорельцам… и проч., и проч. Мы не будем здесь вдаваться в эти подробности… Об этом когда-нибудь мы еще будем говорить в своем месте. Нас интересуют здесь собственно земельные отношения.

Когда наступало время передела полей, вся тысячедушная масса нагорного люда сходилась на большой холм и здесь у старинной, дряхлой часовеньки с облупившимся образом «старинного письма» выбирались вытчики, мерщики и целовальники, здесь вся толпа осенялась крестным знамением, призывая бога в свидетельство справедливости предстоящего дела, и бросались жеребья между вытями.

Вот другая картина. Настало время сенокоса. Уже не тысячедушная, а масса народа, числом до трех тысяч душ баб и мужиков, парней и девок, разряженная и гульливая, выступала на широкие пойменные луга, расстилавшиеся кругом, как степь. На этой зеленой площади все три тысячи душ жили одной жизнью, одной мыслью, одним чувством и биением сердец. Что за дело, что каждой из этих трех тысяч душ достанется из этого обширного луга всего 1/3000 часть, величиною, может быть, в 1/2 мужицкого лаптя… Может быть, это и плохо, это скудно, но зато он чувствовал себя «хозяином» и царем не одного этого несчастного пол-лаптя, а всей необозримой зеленой степи, по которой рассыпались три тысячи душ, его однообщинников!.. Вот где суть, вот где великое значение того «былого», о котором скорбит и ноет сердце Елизара Нагорного! И – увы – все это прошло, миновало, какой-то вихрь разрушения и разложения пронесся над общиной-волостью, и община-волость стала нахронизмом, раритетом, «сонным мечтанием» в воспоминаниях стариков… Откуда все сие? Этот вихрь «разложения» общины-волости явился, конечно, не без причины. Он подготовлялся в течение длинного предыдущего периода, незаметно, медленно, но неуклонно, и в период крепостного права необходимые элементы назрели окончательно. Когда наступила ликвидация барства, все ощетинилось, все напрягло внимание, все спешило вооружиться, чтобы «не упустить момента»…

В хаосе, поднятом первым порывом ветра, трудно было что-

либо разобрать: слышались только стоны, мольбы, окрики, усмирения, а под этот шум все, что половчее, входило во вкус принципа «двух голов сахару и трех фунтов чаю». Но когда туман несколько рассеялся, оказалось, что многое из того, что было, уже сплыло невозвратно. Старинная часовенка на холме среди полей оказалась разрушенною и поверженною вихрем, и никто уже не заботился реставрировать ее; зеленая, раздольная, как степь, пойма была растерзана на клочки, изрезана полосами и ремнями, истыкана межевыми столбами и изрыта ямами. На этих клочках и «ремнях» копошились, как одинокие шмелевые гнезда, кучи людей, не только уже не дышавшие той животворной поэзией «общего», всеми чувствуемого, всем понятного, которая некогда носилась над степью-поймой, но или совсем равнодушные одна к другой, или даже прямо враждебные. Даже самые эти кучки, эти шмелиные гнезда были уже не однообразны: одни оказались «собственниками»[4], другие– «подворными»[5], третьи – «четвертными»[6], четверг тые – «половинниками» и проч., и проч. Каждый лапоть, каждая пядень земли спешила отгородиться от своей соседки, спешила обставить себя столбом, ямой, значком «по положению». И этот «лапоть» уж больше не чувствовал себя частью некоего гармонического целого! И только теперь этот «лапоть» – едва прошел первый порыв увлечения «свободным трудом» на «собственном» клочке земли – почувствовал, как ему стало на этом месте душно, неуютно и неулежно… И Елизар Нагорный, родившийся еще тогда, когда эта степь-пойма дышала одной жизнью, одним «общим» простором, не мог не скорбеть теперь, когда приходил он на «собственный», отрезанный ему и обставленный межевыми столбами «лапоть»… Положим, этот лапоть не только все тот же «лапоть», что был и прежде, но он стал его «собственным», тогда как прежде был «барский», положим, это обязан он считать большим преимуществом. Но тем не менее вдруг ему стало душно на этом «собственном» лапте, нестерпимо душно и нестерпимо тесно, безотрадно стало «копаться» в пределах собственной загородки… То ли дело, когда он на этом (хотя и называвшемся «барским») лапте мог переноситься, как на ковре-самолете, с одного конца раскидистой поймы на другой и чувствовать, что он может на каждой точке ее дышать полной и свободной грудью, общим дыханием с каждым своим собратом… Эта жажда простора и воздуха – поэзия. Говорят, что поэзия только свойственна тому, что исключительно привык человек считать своим, собственным, интимным: поэзия «своего» угла, хотя бы нищенского, «своего» личного труда, «своей» собственности, «своей» семьи… Но есть другая поэзия – поэзия «общего»… Вот этой-то поэзией некогда жил и дышал

Елизар Нагорный.

Он имел основание скорбеть.

* * *

Но возвратимся к нашим приятелям, двум Елизарам.

Как-то около петрова дня я собрался навестить моего знакомого народного учителя, проживавшего в той же волости, к которой принадлежал и Елизар Луговой. Подъезжая к школе, я неожиданно встретил выходившего из нее, в сопровождении учителя, Елизара Лугового.

Елизар в новом суконном синем кафтане, причесанный, прибранный, вымытый, прощался с учителем «в руку»; во всей его фигуре замечалось сознание собственного достоинства, а в разговоре его с учителем светилось ясно если не покровительственное отношение, то желание стоять на равной ноге.

– Так уж будем в надежде, – протягивая учителю руку, говорил он. – Конечно, какое же наше образование… Ну, а все же понимаем. И ежели что насчет чего прочего понять можем…

– Конечно. Что ж!.. Я ничего не имею, – отвечал учитель. – Заявите ваше желание.

– Да-с, желали бы… и очень… Конечно, мы больше в практике сильны… Только вот в теории-то слабы. Кабы ежели нам этой теории…

Но тут разговор прервался: они заметили меня.

– А, и вы в наши места пожаловали! – весело приветствовал меня Елизар. – Очень рады… Посмотрите на нас… У нас здесь веселее, чем в лесу-то у нагорных… Поживете – увидите. Будьте добры, посетите нас… Пожалуйста… Не побрезгуйте нами… Мы очень будем довольны, как значив умственный ежели человек. Мы всегда с радушием. Пожалуйста, хоть вместе с господином учителем. Хоть послезавтра… Праздник у нас, сенокос… Народу соберется видимо-невидимо. Полюбуетесь. Лошадку, может, желаете прислать за вами?

– Зачем же? Здесь близко… И пройтись приятно.

– Само собой-с… Так уж вы лучше с кануна пожалуйте. Ведь у нас по росе косят.

Мы с учителем согласились непременно навестить его. Елизар уехал в своей красивой желтой плетушке, в которую была заложена красивая, здоровая лошадь.

– Вот народец, ну, доложу я вам! – сказал с плохо сдерживаемым раздражением учитель. – Пожить бы вот вам здесь,

так иначе стали бы расписывать… А может, и совсем бросили бы писать…

Но «желчные реплики» учителя были мне давно знакомы.

– Зачем он к вам приезжал? – спросил я, когда мы вошли в школу.

– А вы не замечаете здесь обнову?

– Нет, а что?

– А вот это? – И учитель показал мне новенькую, всю светящуюся лаком и самыми яркими, светлыми красками икону, в золотой раме, и пред нею позолоченную лампадку.

– А… Это кто же вам презентовал?

– А вот он самый… Видите ли, ему ужасно вдруг захотелось быть попечителем.

– Это похвально.

– Ничего похвального нет… Разве я не знаю, зачем он добивается этого попечительства? Ему не хочется служить по выборам, и не то что не хочется, а просто невыгодно. Он целую зиму и осень разъезжал по России с серпами и косами, ведет деятельную торговлю, и, понятно, первый же выбор его в старосты или в старшины, на три года, разорит все его операции вконец. Вы только бы посмотрели, как он от всех допытывается, освобождает ли попечительство от выборной повинности.

– И очень резонно, если только *повинность*, притом очень тяжелая, и ничего больше. Отчего ж бы от нее и не откупиться, хотя бы иконой?

– Он, все одно, платил же раньше своим однодеревенцам ежегодно 15 рублей на водку, чтобы его не выбирали… И продолжал бы опаивать их, чем… Однако, извольте видеть, говорит, что лучше на школу буду давать, чем на водку… Скажите, пожалуйста, какой просвещенный человек!

– От-чего же вы думаете иначе? Почему вы не хотите поверить, что он искренно скорбит о том, что они только практики, что он сознает себя умственным человеком только в практических делах и что им, он чувствует, недостает теории… Отчего вы не хотите поверить, что он искренно уважает эту «теорию» (конечно, насколько он ее понимает) и хочет действительно оказать деревенским детям посильную помощь в приобретении ее.

– Я удивляюсь вам, – горячился учитель, – вы не хотите понять… Да нет!.. Нужно только пожить здесь несколько лет, потереться среди них плечо о плечо, чтобы достаточно оценить, что это за народ здесь! Это один ужас! Они поедом съели друг друга. Вы не поверите, сколько у них здесь между собою было тяжеб, драк, подходов один под другого, подвохов… А вы тут

солидарность! Станет он вам думать о крестьянских ребятишках, чтобы помогать им посвящаться в «теорию»… Тут один принцип – homo homini lupus…

Понятно, я, как человек одинаковых «умственных настроений», вполне сочувствовал учителю, и если возражал ему, то единственно для того, чтобы из уст другого выслушать подтверждение своих тайных скорбей и помышлений.

На другой день, к вечеру, мы отправились в деревню Угор к Елизару Луговому. Еще далеко не доходя до деревни, мы могли слышать уже тот специфический звук, который сопровождает «отбивание» кос, накануне покосов, как будто целая армия гигантских кузнечиков неустанно, словно силясь перекричать друг друга, дребезжала по всей окрестности. Подвижной и деятельный Елизар, несмотря на то что был, по-видимому, занят какими-то приготовлениями, встретил нас очень любезно и с видимым удовольствием; он даже извинился, что его застали «попросту», в одной рубахе, портах и старых валеных сапогах; через минуту он уже явился в жилетке и валеные сапоги сменил на кожаные. Во всем дворе его и в избе было заметно хлопотливое оживление: два-три мужика (принятые мною за наемных косцов и батраков) усердно отбивали косы, сыновья Елизара, подростки (кстати сказать они учились у него в городском уездном училище), уделывали для баб грабли; сами бабы – старуха мать жена и дочери суетились в избе, как будто пред светлым днем: топилась печка, месилось тесто, пеклись пироги, куженьки, варилось мясо… Хотя меня несколько и поразили такие усиленные приготовления, но я объяснил их просто хозяйственностью делового Елизара, у которого, конечно, на страду должно скопляться много батраков, или же он хотел устроить обычную у кулачков-землепашцев помочь с угощением. Вообще от порядков таких пресловутых деревень, как Угор, я не ждал ничего особенного: целые десятки лет судившиеся, грызшиеся друг с другом общинники-кулачки, очевидно, давно постарались обособиться друг от друга, отмежеваться, елико возможно, и каждый двор вел свое хозяйство и все свои дела в одиночку, на свой личный страх и ответственность, не обращаясь за помощью к соседям, не интересуясь ими и зато уже не рассчитывая и от них на эту помощь, иначе как за деньги. От той же «единственной картины», которою соблазнял нас Елизар Луговой, понятно, я не ждал ничего больше, как только «блезиру»: ряды разряженных баб с граблями, визгливые песни, поэтический простор луга, эффектно освещенного восходящим солнцем, мерные взмахи кос и т. п., что называется «природа», которую, как мужикам известно очень хорошо, так любили

некогда «господа». Да и «блезир-то» этот скорее мог уцелеть у каких-нибудь старозаветных нагорных обитателей; а уж у таких практических людей, как луговые, какой же может быть «блезир»!

Но мне, к изумлению, пришлось увидать нечто большее, чем один «блезир».

Мы с учителем, конечно, проспали, и когда встали, хотя все же рано, то уже не нашли в деревне почтя никого. Мы пошли по горе по направлению к лугу, и когда выбрались на открытое место, пред нами, действительно, открылась «единственная картина».

Под горой расстилалась огромная полоса, приблизительно десятин до 100 в этом месте; ее окаймляла вдали, как серебряная рама, полукругом река; четвертая часть поймы уже была скошена и уложена правильными рядами «валов» сена. И на этой-то скошенной части теперь расположен был целый лагерь косцов. Ряды телег с выпряженными лошадьми тянулись прямой линией через весь луг.

Около возов собрались косцы, а бабы, рассыпавшись по всему лугу, ворошили сено. Народу было до 500 душ обоего пола. Меня изумило такое многолюдство, но учитель ничего не мог мне объяснить, кроме того, что этот луг считался знаменитым почти на всю половину губернии: снимаемое с него сено было великолепное. Действительно, редко можно встретить такую богатую траву: когда мы пошли по лугу, так положительно заплетались в густой и высокой траве: кашка и мышьяк (травы, считаемые крестьянами лучшим кормом) непрерывным ковром расстилались в обе стороны; на всем необозримом пространстве ни куста, ни болота, ни ямы. Великолепный это был луг, но зато луговые только им и дышали! Другой земли у них было мало, да и та плохая: летом – луг, а зима, осень и весна – бесконечные странствования «в отход», по всей необъятной России

От Финских хладных скал
До пламенной Колхиды.

Мы шли вдоль ряда телег, около которых, как пчелы, копошились и жужжали люди. Около каждой телеги сидело 5-6 мужиков; раскрасневшаяся хозяйка суетилась у больших корчаг и горшков, покрытых полушубками, чтобы не остыло «хлебово», привезенное из деревни еще с раннего утра. Хозяин носился со штофом водки и угощал сидевших с пирогами в руках. У одних телег уже хлебали горячее; сытный пар расстилался в свежем воздухе. Кое-где уже кончили обед и гости лежали врастяжку на брюхе тут же под телегами. Распряженные лошади ходили

вблизи… Несмолкаемый, бессвязный говор носился над поймой, а вдали звенела песня, подхватываемая бабами. На меня пахнуло было той эпической величавостью, той поэзией «общего», о которой мы скорбели с Елизаром Нагорным. Но все же это был еще только один «блезир», и не знал еще я, какое содержание за ним скрывалось. Да и ожидать я не мог многого от этого «блезира», так как подобный «блезир», как отживающий остаток доброго старого времени, мне приходилось нередко наблюдать в самых разлагающихся общинах «хозяйственных мужиков», где уже, кроме настоящего «блезира», за этими «единственными картинами» ничего и не скрывалось… Мы отыскали наконец среди ряда телег и телегу наших хозяев.

– Ну, вот и вы, – сказал Елизар Луговой, обнося водкой своих гостей, – запоздали, дюже запоздали… А мы уж вот угощаемся… Вы бы пораньше, как вот весь народ на ногах был… Примерная картина!.. Да вот ужо, послезавтра уберем это сено, вторую четверть (луга) сносить будем… Тогда приходите… Еще ведь у нас долго эта прокламация пройдет…

Пятеро мужиков, сидевшие вокруг чашек со щами, которые накануне отбивали на задворках косы и которых я принял за батраков и наемных, оказались вовсе не батраками, а «гости».

Я вступил с ними и Елизаром в разговор, и вот что сообщили они мне о современных своих распорядках.

Пять соседних деревень, известных под общим названием Луговых, в числе которых была и деревня Угор, некогда принадлежали одному помещику; затем они были, по завещанию, приписаны в дар Троице-Сергиевской лавре и впоследствии в разряд так называемых экономических[7]. Давно еще, еще до воли, они составляли одну общину-волость, владели сообща землей, переделяли ее между собой, но скоро эти стародавние порядки у них рухнули, и их общину-волость разрушил тот же вихрь «разложения», который продолжал разрушать и нагорную общину. У них процесс этого разложения совершился уже очень давно, благодаря, с одной стороны, непосредственному влиянию городской цивилизации, с другой – торгово-промышленному характеру населения. Все свои угодья они поделили и размежевались начисто; было тут много драк, доходивших до смертоубийства, были подкупы, подвохи. Понятно, что в этом взаимном поедании особенно выдающуюся роль играл их знаменитый луг. Чтобы получить лишнюю десятину его, не стояли ни за чем: судились со своими, судились с чужими, закашивали, уничтожали межевые знаки, заводили тяжбы, на «подмазывание» которых сбирали шляпами мирское серебро, как рассказывает предание, и сносили к городским чиновникам.

Наконец, кое-как все уладилось, все разбилось на особенные участки, все размежевалось, разъединилось. В этой длинной процедуре тяжб, кляуз и драк пропали, по-видимому, последние признаки солидарности. Деревни окончательно отделились одна от другой. Всякий ведал и обрабатывал свой участок, как хотел, на свой личный страх. Многодушные семьи, конечно, еще управлялись кое-как с луговыми участками, но семьи средние и маломощные должны были нанимать на летние работы и особенно для уборки драгоценного сена, которая требовала спешной и дружной работы, работников со стороны. Но работники в той промышленной стороне с каждым годом все ценились дороже и дороже и становились притом все неисполнительнее… И вот лет 10—12 назад – по какому поводу и по чьему почину – предание не говорит – собрался весной сход всех четырех деревень, некогда бывших сестрами-общинами, и на этом сходе постановили, чтобы впредь все деревни, при обработке луга, взаимно помогали одна другой. Таким образом установился тот порядок «общей работы», который происходил на моих глазах. Весь луг был разбит на четыре участка. На общем сходе бросали жребий – чей участок косить прежде. Когда жребий был вынут известной деревней, назначался день косьбы. К этому дню все наличные работники трех остальных деревень обязаны явиться на участок деревни, вынувшей жребий. Затем луг, общим порядком передела, делился на *карты*, карты на *десятки*, десятки на *доли* по душам и дворам. Учет и распределение пришедших на помощь работников производились так: на каждую душу косившей в известный день деревни выходило по три работника, по одному из каждой остальных деревень. Так, если во дворе три души, то являлись девять работников на помочь. А так как каждая из луговых деревень имела 100—150 душ, то и выходило на покос за раз от 300—400 душ. Помогавшие работники распределялись по дворам «помилу», «кто кому люб», по родству, по знакомству (см. «Деревенские будни», порядок «обирания вытями»). Косившая деревня обязана была угощать пришедших на помочь работникок. После косьбы три деревни помогали четвертой убирать сено и свозить в стоги. Управившись окончательно с первым участком, переходили ко второму, и тогда первая деревня уже посылала своих работников на помочь к тем дворам второй деревни, которые помогали ей, и в том количестве, в каком эти работники были на ее покосе, и т. д.

Если погода благоприятствовала, за одну неделю убиралась вся огромная пойма.

Замечательно, что такого рода порядка общей обработки раньше у луговых крестьян не существовало, и старики не

помнят, чтобы у них было когда-нибудь что-либо подобное, что это явление совершенно новое, самобытное. Объясняли его старики тем, что нынче «народ стал хитрее». О причинах же, побудивших ввести такой порядок дел, крестьяне не могли мне сказать определенно, по предполагали, что оттого это так стало, что рабочие руки стали дороги, взять их негде, приходилось нанимать из своих же деревень. «Значит, сегодня я тебя нанял, деньги тебе заплатил, а завтра ты меня к себе нанимаешь и те же деньги мне назад отдаешь!.. Так чего же тут канитель-то тянуть – из кармана в карман деньги перекладывать! Значит, лучше попросту: ты ко мне пришел помочь, а назавтра я к тебе приду… Вот и вышел такой порядок!..» – объясняли мне мужики.

– Надо правду сказать, – заключил с своей обычной добродушной насмешкой Елизар Луговой, – туговаты были насчет сообразительности наши старики… Вот хоть бы взять теперь эти самые луга… Сколько теперь на эти столбы да ямы деньжищев засажено!.. Сколько греха было… А теперь, я так думаю, вот немного погодя и совсем эти столбы ни к чему будут… Хоть вон повытаскивай все!.. Вот хоть бы теперь взять у ваших нагорных: та же канитель идет, что у нас была…

* * *

Возвращаясь с учителем, я спросил его: «Как вы думаете насчет этих новых „порядков“? Мне кажется, вы не совсем справедливы, когда говорите об отсутствии у здешнего народа солидарности и понимания общих интересов».

– Какая же это солидарность? Просто выгода… – отвечал он, с неудовольствием пожав плечами.

– Выгода? Конечно, выгода… но выгода *длявсех*…

– Вы неисправимый оптимист, – заметил он мне с улыбкой.

– Пусть так: «я верю в народ»…

Приехав обратно к Елизару Нагорному, я передал ему, что видел.

– Знаю!.. Они народ хитрый… У них тоже смотри в оба… Они глаза-то отведут как раз…

– Отчего бы и вам так не сделать?

– Нам нельзя… Мы народ старинный, смирный… Мы вот жили по правде, а теперь тронулось все, ну, уж тут все одно не удержать… Может, вот и наши ребята хитрее нас будут!.. Кто-е знает!.. А я так думаю, что, пока правда не объявится, хорошему не быть…

Но уж не начинает ли хоть слабым мерцанием объявляться

возможность этой правды?

Кстати, этот знаменитый луг, который дал мне случай подсмотреть единственную в своем роде картину, зовется в народе *Красный куст* [8].

notes

Примечания

1

Впервые – в журнале «Отечественные записки». 1881. No 1, под заглавием «Красный куст. Страница из деревенских будней (К истории межобщинных отношений)». Включался в собрания сочинений Н. Н. Златовратского 1891 г., 1897 г. и 1912—1913 гг.

Печатается по изданию: Златовратский Н. Н. Собрание сочинений. Спб., 1913. Т. 8.

2

Уставная грамота 1861 – документ, который устанавливал размер надела временнообязанных крестьян по «Положениям» 19 февраля 1861 г. и повинностей за пользование им; содержала сведения о разверстании угодий, перенесении усадеб и т. п. Составлялась в ходе крестьянской реформы 1861 года помещиком и вводилась в действие мировым посредником; в случае отказа крестьян могла утверждаться и без их согласия.

Выть – здесь: небольшая крестьянская община.

4

Собственники – крестьянская реформа 1861 предоставляла крестьянам права выкупа усадьбы и – по соглашению с помещиком – полевого надела, до осуществления этого они именовались временнообязанными крестьянами…

5

Подворный, подворник – крестьянин, не являющийся членом крестьянской общины, владеющий подворным участком, платящий подворную подать. «Этот порядок называется подворным или участковым владением, обыкновенно противопоставляемым общинному земледелию». (Н. Златовратский, Деревенские будни).

Четвертные, половинники (половинщики) – здесь: крестьяне, владеющие соответствующей частью земельного пая.

Экономические крестьяне – в России второй половины XVIII века феодально-зависимые от государства крестьяне, бывшие монастырские, переданные в 1764 под управление коллегии экономии (позже – в ведение местных органов администрации, казенных палат). Барщина и натуральный оброк для экономических крестьян были заменены подушным денежным оброком.

8

«Красный куст» находится во Владимирской губернии и уезде, в Воршинской волости, Троицкой вотчины, деревень Колокша, Угор, Малетево и других.